

— Эмма Григорьевна, вы уже много лет занимаетесь творчеством М.Ю.Лермонтова, получили признание и коллег, и читателей и в то же время стоите особняком от всех, в стороне от каких-либо школ или групп в литературоведении. Почему так случилось?

— Я начинала в те глухие 30-е годы, когда лучшие ученые были в загоне и с трудом работали сами. Все они вышли из формальной школы, были ее лидерами в России. Когда я приезжала в Ленинград, у меня были личные встречи с Эйхенбаумом (он дал мне и тему для исследования), я рассказывала ему о сделанном, но официально это не могло быть закреплено. В Союз писателей меня не принимали, придираясь к любому предлогу: например, к тому, что у меня были напечатаны лишь отдельные статьи, а не книги.

— А почему к вам придирались? Не повлило ли то, что вы были «вписаны» в дело Мандельштама, где речь шла о его знаменитой сатире на Сталина и других антисоветских стихах?

— Вы правы. Действительно, на допросах Мандельштам упоминал меня среди сочувствующих слушателей его «краснофильских» стихов. Слава Богу, что не арестовали, но о какой карьере могла идти речь! Однако это не единственная причина. Мое мировоззрение было гораздо ближе к так называемому идеалистическому, чем к марксистскому, и это проявлялось в каждой работе. Кроме того, я была не слишком сдержана на язык, а после войны мешал пятый пункт.

Что касается моего одиночества сейчас, то оно объясняется большим разрывом между поколениями. Сегодняшние ученые основываются на выводах новейшей науки, употребляя научную терминологию, которой я не всегда владею. Я же всегда придерживалась той стороны литературоведения, которая работала на фактах, а не на их иногда слишком свободных истолкованиях. Так, сейчас нет, наверное, ни одного студента-филолога, который не говорил бы о проблеме времени. Но времени, его движения они не чувствуют. Не чувствуют, какие перемены происходят с человеком, иногда за очень короткий период. Поясню это на примерах. Свое последнее стихотворение «Спор» Лермонтов отдал в «Москвитянин». И исследователями стала муссироваться мысль о сближении Лермонтова со славянофилами. В частности, с Самариным — будущим лидером славянофильства. Но когда он им стал? Спустя 20 лет! А тогда были совсем другие отношения: Самарин был студентом, гордившимся тем, что Лермонтов с ним беседовал. Правда, он критиковал «Героя нашего времени», но это еще не «лидер славянофильства». Поэтому, когда я начинаю работать, всегда делаю «перегородку»: 1841 год — Лермонтов умер и уже не знал, что было потом. Не видел писем Герцена в «Отечественных записках», не читал его замечательной серии статей «Дилетантизм в науке». А чтобы лучше понять, что чувствовал Лермонтов в каждый отдельный момент его жизни, искала в архиве свидетельства всего, что происходило вокруг него в те годы. И таким простым образом многое обнаруживалось.

— И, конечно, издатели это тут же учитывали...

— Что вы! Если мне и удавалось что-то доказать, уточнить дату или обстоятельство, установить авторство — все это оставалось без внимания. Так всем спокойнее. Примеров — тьма. Скажем, в книге «Судьба Лермонтова» я привела целую цепь доказательств, что «Валерик», который относят к 1840 году, был написан в последний год жизни поэта. А он развивался стремительно. Тем не менее одно из важнейших произведений Лермонтова, знаменитое большой перелом в его мировоззрении и поэтике, так и продолжают датировать 1840 годом, примитивно прилагая его к самому сражению при Валахике. И только в одном издании мельком сказано: доводы Герштейн неубедительны. Все это говорит о привычке у моих оппонентов к стереотипам.

Об этой же губительной привычке свидетельствует другой пример. У меня была напечатана работа о нескольких стихотворениях Лермонтова, которые Эйхенбаум впервые собрал и напечатал как единый лирический цикл. Между тем вскоре этот цикл опять «рассыпали», пользуясь отсутствием точных датировок и привязанностью к старым примитивным толкованиям. Традиционно стихотворение «Не смейся над моей пророческой тоскою...» связывают с арестом Лермонтова

за стихи «Смерть Поэта», то есть приписывают ему страх за свою жизнь. Я же, целым рядом кропотливо исследованных фактов доказывая, когда какое стихотворение цикла было написано, пришла к выводу, что это стихотворение было создано намного раньше «Смерти Поэта». Оно было реакцией на неудачу, связанную с дебютом — драмой «Маскарад». Лермонтов настолько хотел, чтобы дебют состоялся, что переделывал драму по требованиям цензуры три раза. Неудача же повергла его в совершенное отчаяние. Отсюда такие строки:

Не смейся над моей пророческой тоскою;  
Я знал: удар судьбы меня не обойдет;  
Я знал, что голова, любимая тобою,  
С твоей груди на плаху перейдет;

кациями, сделанными непрофессионально, с наскоку. Как будто не было образцовых публикаций...

— Проблема доступа к архивам носит у нас вполне понятный острополитический характер. Но излишний ажиотаж мешает подлинному умению научно работать в архиве. Я могла бы подписаться под словами, сказанными об Илье Львовиче Фейнберге, для которого найденный в архиве новый документ или факт никогда не имел только самостоятельного значения. Он всегда входил в контекст предварительно изученного в печати. Случайных находок в архиве — не высчитанных заранее — у него практически не было. Я всегда работала так же. А сейчас относятся к архиву как к библиотеке. Приходят чи-

# «Жена Николая I была неравнодушна к Лермонтову»

С Эммой Григорьевной ГЕРШТЕЙН, старейшим российским литературоведом, беседует Н.Иванова-Гладильщикова

Я говорил тебе: ни счастья, ни славы  
Мне в мире не найти; — настанет  
час кровавый,  
И я паду; и хитрая вражда  
С улыбкой очернит мой недоцветший  
гений;  
И я погибну без следа  
Моих надежд, моих мучений...

Так становится принципиальным вопрос о том, что могло быть причиной его отчаяния: отсутствие яркого выхода в большую литературу или страх наказания за стихи «Смерть Поэта».

Другой пример, связанный уже не с датировкой. После войны я обнаружила и впервые напечатала интимные письма и дневниковые записи Александры Федоровны, жены Николая I. Из них выяснилось, что она была неравнодушна к Лермонтову. На мой взгляд, это повлияло на трагический исход его короткой жизни. Но почему-то об этом считается неприличным говорить. На самом деле не надо воспринимать это примитивно: вот, мол, царь притренивал. Он не мог вообще слышать имени Лермонтова по политическим причинам, а тут еще императрица настойчиво за него хлопотала.

— Он же был очень некрасивым?  
— Один оппонент мне тоже возражал: этого не может быть, ведь у него были кривые ноги! (Смеется). В этой истории проступает портрет самой императрицы (мне пришлось собрать большой материал вокруг этого громкого имени). Оказалось, что нет ни одного свидетеля, который бы не подчеркивал, что она не только императрица, но еще и привлекательная женщина. Притом женщина, любящая искусство.

О литературных вкусах ее мы говорить не будем, здесь большого понимания ждать не приходится. Но ее интерес к творчеству Лермонтова переходил в интерес к нему самому, его она видела в свете. После появления «Смерти Поэта» Лермонтов завоевал себе положение в великосветском обществе. Однако благодаря повести Владимира Соллогуба «Большой свет» читатели уверовали, что его претензии на светскость были смешны. Между тем это была клевета, явно вызванная личными отношениями.

— Вы всю жизнь работали с подлинным материалом, в архивах. Сейчас во множестве приходится сталкиваться с архивными публи-

ковать. А настоящий исследователь всегда ищет определенный документ, он знает, что он ищет. Правда, это занятие сопровождается и неожиданными находками, что и является отрадой, прелестью и поэзией архивных розысков. У нас же сейчас очень много дилетантских публикаций — выхватывают документ, иногда даже не зная, что он уже опубликован.

— Но ведь дело в том, что в нынешних архивах не всегда дают работать и специалистам.

— Я знаю, меня и саму, случалось, не пускали, сколько я ни боролась. Говорили: «Что вы там ищете про «Кружок шестнадцати»? Спросите Бельчикова. Он вам все расскажет».

— А кого вы считаете своими учителями?

— Эйхенбаум и Харджиева. Это были не просто учителя. С Борисом Михайловичем Эйхенбаумом я познакомилась в 1935 году, когда он очень много писал и печатал, наново прочитывая сочинения русских классиков. Делал он это, уже не столько отойдя (но отойдя вперед) от формального метода. Он был очень увлечен своей новой деятельностью и с удивительной легкостью вовлекал в эту поистине необъятную работу своих учеников и последователей. Когда я к нему пришла, я была совершенно не подготовлена к занятиям литературоведением. Эйхенбаум начал с того, что сказал: все это очень просто и легко; вы начнете с такого-то указателя, потом возьмете такие-то журналы, а там уже все пойдет как по маслу. Он был всегда исключительно благожелателен, вежлив, изыскан в беседе и остроумен. Именно он дал мне тему на много лет — «Кружок шестнадцати» — одну из самых неразработанных тем, какие только были в русском литературоведении.

— Можно сказать, что благодаря Эйхенбауму вы стали заниматься Лермонтовым?

— Именно благодаря ему. Я об этом писала. Толчком для меня послужила его увлекательнейшая статья, напечатанная в 1935 году в «Литучебе», «Основные про-

блемы изучения Лермонтова». В ней говорилось, что все надо делать заново. Это меня и привлекло к нему.

Что касается другого моего учителя, Николая Ивановича Харджиева, то он не знает моего лермонтовского материала, так как занимается другими вещами. Но он научил меня работать с материалом: ничего не упоминать скороговоркой, а вводить в свою работу только то, что выверено и понято до конца. Он один из лучших знатоков поэзии, и, часто беседуя со мной, он ввел меня в этот мир.

И еще одно. Когда-то мы разговаривали с Сергеем Михайловичем Бонди, и он сказал: для того чтобы заниматься Пушкиным или Лермонтовым, исследователь должен быть знаком хоть с одним боль-

относилась к ней как к источнику сведений о литературе и не любовалась ею, как экспонатом. Так сложились обстоятельства, что у нас были живые отношения — много уделялось места всяческим жизненным обстоятельствам, и крупным, и мелким. И тем не менее каждое общение с ней было очень значительным. Встречаясь с большим поэтом, ты дышишь с ним одним воздухом, это заражает, и ты обретаешь какое-то новое мироощущение.

— Ваше общение с Ахматовой не было на равных?

— О, нет. Многого я ей не решалась сказать, дистанцию чувствовала всегда.

— Ахматова была немного высокомерна?

— Нет. Наоборот, многих обманывала простота, с которой она общалась с людьми, и иногда они допускали излишнюю фамильярность.

— Что вы думаете об отношениях двух поэтов — Анны Ахматовой и Николая Гумилева?

— Там были совершенно особые, трагические отношения. Она сама говорила: это тайна, которая еще не открыта. В исповедальном дневнике Ахматовой последних лет (как я уже упомянула, он скоро должен выйти в свет) одна из основных тем — история ее брака с Гумилевым. В их отношениях было что-то мистическое.

— А как Лев Николаевич относился к творчеству родителей?

— Когда был в хорошем, ничем не отравленном сознании, говорил: «Мама — великий поэт». А так — часто мог и другое сказать. Отца он обожал, конечно. Но в последнее время мог и о нем высказываться крайне фамильярно.

— Что-то открывалось с течением времени?

— Что-то придумывалось. Когда мы только познакомились и я расспрашивала его о Гумилеве, Лева говорил: «Помню, как он научил меня играть в двадцать одно». Но на самом деле он его обожал, у него был культ отца. И в стихах своих бессознательно подражал ему, в них был гумилевский полет. Недавно я опубликовала одно из лучших стихотворений Львы 1934 года в «Новом мире», он считал, что с него должна была начинаться книга его стихов. Но после этого он прислал мне целую подборку военных стихов, которые мне не показались сильными.

Нужно сказать, что, несмотря на напряженность отношения Льва к матери, он ее безумно любил. Так, в 70-х годах он пишет мне деловое письмо и приписывает: «Вот уже 10 лет, как нет мамы». А в другом письме, 1967 года, касаясь неблагодарной судьбы рукописей Ахматовой, он трогательно заметил: «Бедная мама! Она так беспокоилась всегда о «своих бумажках», а то, что вышло с ними, пожалуй, наихудшее из всего. И ничего нельзя было сделать».

— Собираетесь ли вы еще писать о Мандельштаме?

— О Мандельштаме сейчас очень много написано важного и интересного, прекрасные специалисты пишут о таком сложном явлении, как поэзия Мандельштама. Но тем не менее у меня такое впечатление, что они не попадают в яблоко. Между тем поэт этот — настолько своеобразное явление, что нужно найти какую-то главную точку, чтобы понять его. Я делаю такую попытку. Это не тот человек, которого можно либо обвинить, либо оправдать. Он человек многосоставный и с большим изъяном — как личность. Хочу написать и о той роли, которую сыграла в его жизни жена — Надежда Яковлевна. Есть большая группа людей, которая исповедует культ Надежды Яковлевны, считая ее лицом неприкосновенным, вне критики. И это наводит на грустные размышления о том, что тяготение к культу — одна из органических черт нашего общества. Между тем вдова Мандельштама достойна серьезной критики. Сейчас я делаю попытку определить характер ее влияния на жизнь и судьбу Мандельштама.

— Эмма Григорьевна, а какие еще «сюжеты» ждут читателей?

— То и дело появляются публикации, на которые необходимо сразу же отвечать (ничто ведь не находится в статическом состоянии), и мне приходится отходить от воспоминаний о своей жизни. Надеюсь, что в конце концов вернусь к самой себе, ибо в силу того, что жизнь моя длится очень долго, даже на воспоминания о моем детстве неминуемо ляжет налет истории.



Фото Александра КАРЗАНОВА